

Пётр нашёл утку — дохлую, со свёрнутой шеей.

Утка была его: жирная, ладная первогодка с чёрным пятном на крыле. Пётр думал оставить её к Новому году, чтобы поднабрала еще жирка и потом, замаринованная с апельсинами, чёрным перцем и розмарином, с ароматной хрустящей корочкой, порадовала всех за столом. Но теперь придётся резать другую. Если к декабрю ещё останутся утки...

На дворе стоял ещё сентябрь, и птица всю набирала вес. Каждый день Пётр выпускал её гулять на пустырь за двором. Пустырь небольшой, наполовину заросший травой, но с огромной ямой, заполненной водой, — почти прудом с топкими, из чёрной грязи, берегами, с подёрнутой зелёной ряской гладью. Никаким зерном, никакими добавками так не откормишь птицу, как она добрела на такой воде: грязной, мутной, но кишасей червями, мошками, личинками, водорослями, исторгающей на поверхность жизнь из затхлого нутра — с заиленного липкого дна.

Что-то мистически-притягательное было в том, как птица кидалась к воде, шлёпая по грязи и барахтая крыльями. Странное томление в

груди словно вспыхивало искрами, когда одна, вторая, третья утка с разбегу бросалась в пруд и плыла, плыла к середине, подныривая под неопрятную гладь, вспарывая воду забрызганной зелёной ряской головой. И Чернокрылая, чья тельце остывало сейчас у ног Петра, ещё вчера казалась самой резвой, самой красивой — так играло солнце на её спинке, и чёрное пятно на крыле маяком призывно бросалось в глаза среди кипящей утками воды...

Пётр поднял тушку с земли и повертел. Ни капли крови, ни выдранного пера —ничего... Это явно человек: свернул шею и подкинул поближе ко двору, чтобы хозяева наткнулись при выходе.

— Может, всё же собака? — спросила жена.

Она подошла незаметно и теперь нависала над калиткой крепко сбитым туловом: грубоватая, словно вытесанная наспех заготовка, с мощной грудью и огромными мужицкими ладонями сильной, удушающей хватки, способными раскалывать орехи лёгким нажатием пальцев. И говорила она под стать: густо, неповоротливо, взвешивая слова на невидимых весах. Казалось, ещё чуть-чуть — и услышишь, как скрипят

тугие шестерёнки и позвякивают гирьки у неё в голове.

— Вряд ли. Собака бы горло перегрызла, обожрала... А тут, сама смотри, ни единой царапины.

— Сосед, падла! — выругалась жена и тяжёлой, покачивающейся походкой побрела к дому.

Потом резко вернулась и вырвала утку из рук Петра:

— Собакам сварю — чёй-то добру пропадать!

И он не стал спорить и противиться, хоть и горело желание дохлой тушкой начистить соседскую харю до треска лоснящихся, покрытых жирными углями щёк. Да стреноживало сомнение: а вдруг не сосед, вдруг кто другой? Или сосед не крестьянин — неужто не жалко такую птицу губить?!

С соседом шла давняя война, непонятная, дикая. И началась она так незаметно, по-тихому, что, пожалуй, и не вспомнить сейчас, из-за чего разгорелся уголёк раздора. Может, ненависть вспыхнула тогда, когда сосед резко пошёл в гору, прикупил машину, вторую, третью... Вон во дворе и трактор — синий, слегка побитый жизнью «белорус» — с прошлой недели красуется; и каждый вечер, горделиво забирая подбородком чуть ли не до неба, сосед «выгуливает» его: прямыми, как деревянными, руками держит руль, меж губ чуть прижата сигарета, кепка заломлена набок, — медленно проезжает по улице в один конец, потом оборачивается и замирает у своего двора. Долго ещё Петру, даже за плотно закрытыми окнами, слышится утробное тарыхтение «белоруса», долго... до самой ночи.

И ходит-то теперь сосед степенно, и здоровается с односельчанами через раз, будто приветственное слово гвоздями к языку приколочено да гвоздождёр дома позабыт. А был-то... был-то... Кем он был-то?

Появился здесь однажды со скудными, заносенными вещами, что уместились на половине тракторной тележки, с забитой мужниной рукой жёнушкой, иссохшей, с резко выдающимися скулами. И всё шастал по деревне, сутулясь и поглядывая, как собачонка, не перепадет ли чего, а чёрные глаза углями-антрацитами вспыхивали-отсвечивали на каждую ладную бабёнку

на улице. Может, и Петрову жену обмазал этим сажным взглядом не раз. Пётр, думая об этом, чувствовал странное покалывание, обиду и на соседа, и на свою Галю — нескладную, но и притягательную огрубевшим, оплывшим от непосильной деревенской работы телом, источающим первобытный жар русской печи.

Сгонял уток с пруда, и всё лезли в голову дурные мысли. Где сосед теперь? Что делает? Может, стоял и смотрел, как Пётр вздыхал над убитой уткой? Подкинул — и радуется! Нагадил — и доволен! И смеётся, пересчитывает оставшуюся птицу, намечает новую жертву...

Утки шли неохотно, громко бранились, кивали головами. Утак шипел и топорщил перо на шее, поршнем гуляла глотка от недовольного то ли рыка, то ли крика. И чудился Петру в этом утином протесте упрёк: мол, не уберёт Чернокрылую, такой ты беспутный хозяин, что и за птицей доглядеть не можешь. И косился утак при этом чёрной бусиной глаза, и боком обходил человека, тревожно и зло подёргивая крыльями. А Пётр в ответ с виноватым прищуром помахивал прутом, покрикивал по-доброму: мол, давай, не робей, веселей, вон хозяйка и мешанку уже рассыпает, картох намяла с пареной кукурузой, давай!

И тянулась-втягивалась во двор через широкую калитку утиная стая, покачиваясь лодками, по измятой земле. Ими измятой, их широкими лапами-лопатами. Ими... и Чернокрылой.

Крепко засела она в голове, уцепилась, угнездилась под твёрдым черепом — свербит, не даёт покоя. Вчера вот только и была, что утка с чёрным пятном, а теперь стоит перед глазами мученицей с собственным именем, символом межсоседской войны. Всё-таки какие порой смерть шутки выкидывает! Выцепит из потока жизни ничто, пустую душу, и словно на сцену бросит, высветит, как прожектором: мол, смотрите и любуйтесь, цените и горюйте, расплачивайтесь своим покоем и благодушием...

Жена клушкой суетилась по двору — то подливала воды в корыто, то подсыпала мешанку — и всё считала вымазанным в кукурузно-картофельной гуще пальцем птицу: одна, вторая, третья, белая, пёстрая, утак, утка... Посматривала на мужа зорко, цепко, недовольно

мурилась, что не спешит закрывать калитку. А Пётр стоял и глядел на пустырь; достал сигаретную пачку из кармана и долго крутил в руках, принаравливался, выбирал, а выбрав, затягивался жадно — и в холодных сумерках болезненным пятнышком вспыхивала и тут же гасла сигарета. Обжигался терпким, горьковатым дымом и думал, что вот он стоит и курит, и алое пятно сигареты, быть может, видно у самой фермы, от которой разносится лёгкий, подрагивающий в осеннем воздухе гул дойки. Может, даже соседская баба, доярка, сейчас гремит флягами со створожившимся ободком вчерашнего удоя у края и поглядывает в его сторону. Видно ли ей оттуда, как он затягивается — зло, нервно, будто выкуривает Чернокрылую из головы?

Так же нервно Пётр курил на каждую соседову обиду: и на сплошной высокий забор, отбрасывающий по утрам тень на Петров огород, и на крутую крышу гаража, стряхивающую снег и дождевую капель к Петру во двор.

Курил, а потом шёл и дрался с соседом: заезжал в челюсть сразу, с порога, без долгих разговоров. В такие минуты Галя стояла на крыльце, с замиранием сердца вслушивалась в звенящий из-за забора мат, вздрагивала от визга соседки и гадала на тугие удары — кто кого. А потом не выдерживала — бежала и огромными ручищами разнимала мужиков, и сама материлась как заправский матрос. Сосед при виде грозной Гали прятал глаза и уползал в полутёмное нутро дома, выглядывал в окно и щерился желтоватыми зубами; его жена грозилась участковым и звала всех вокруг в свидетели. А Галя тащила мужа по пыльной улице домой, и из окон смотрели им вслед любопытные взоры — значит, завтра побежит ураганым ветром сплетня от дома к дому, от магазина до почты, от автобусной остановки до фермы, и будут все гадать и рыдять, посадят в этот раз Петра или погуляет ещё малость...

Но Галю эти разговоры не волновали; она рассуждала просто, буднично и сейчас больше думала, как выгоднее сварить псу похлёбки, чем о дохлой утке и соседе. Загнала птиц в сарай и сидела на скамейке, в центре огромной кляксы света от крылечной лампы, бодро огромными пальцами щипала ошпаренную кипятком

Чернокрылую, и подёрнутое кремовым жирком утиное тельце бросалось в глаза болезненным пятном.

Пётр зло сплюнул тлеющий окурочок под ноги, припечатал подошвой, замер у калитки.

— Ну что ты там? Долго ещё будешь глаза мозолить? — донёсся голос Гали.

Она разогнулась. Утиная тушка безвольно свисала с руки.

И Пётр хотел было закрыть калитку, но тут из сгущающейся темноты вынырнул силуэт и поплыл мимо, и в тусклом, едва достигающем калитки свете лампы чёрным вспыхнули глаза соседа.

— Чё, соседушка, понравился мой подарок? — он увидел Галю и замер, и смотрел мимо Петра на пятно света у крыльца и на тушку Чернокрылой, близоруко щурил глаза.

И Пётр понял, что тот его не видит, стоящего в тени, привлечённый электрическим мерцанием с крыльца. Понял и замер, не зная, как быть, только смотрел, как лыбится сосед, и вслушивался: что там жена, молчит? Молчит. Правильно делает, лишь бы не пялилась в ответ на этого скота!

Пётр неуклюже повернулся посмотреть на неё, и треснул под ногами брошенный прут. Сосед вздрогнул и наконец выхватил глазами Петра — и даже падающая на лицо ночь не могла скрыть, как побледнели соседовы щеки и задрожал подбородок. Так и понесся прочь гулкий топот ног, стукнула калитка рядом, и загремел цепью, заскулил соседский пес.

— А, зараза! — выругался Пётр. И долго ещё топтался по двору, всё проверяя, надёжно ли прикрыты сараи да не покосился ли забор.

И за ужином, и ночью всё стоял в голове этот соседский топот, и тошнило от запаха разваренной собачей похлёбки, томящейся на плите.

Кем он был-то — сосед? Гольтьбой, залётной вороной, перекати-полем, избороздившим пол-области и нигде подолгу не задерживавшимся. Мужичонкой с бегающими глазками, что вечно, казалось, выпрашивали подачки.

А кем был Пётр? Коренным, крепким хозяином, вросшим глубоко в здешнюю землю; и нёс-то он по этой земле свою голову прямо и высоко —

каждый день пять раз от дома на телятник и от телятника на ферму, — и кланялись ему в ножки мужики да бабы: как-никак заведующий! Над всеми коровами, быками да тёлками начальник; над кормами да бидонами-флягами с кремовым молоком и бледным, как мел, обратом, что возвращался с молокозавода, распорядитель. И сам сосед не околачивался ли у Петрова крыльца, разводя пьяные сопли, упрашивая вернуть его скотником на телятник?!

А теперь... Эх, нет теперь ни телятника, ни бычатника, и от самой фермы остался один огрызок, да и тот чужой: не сгинувшего колхоза, а так, непонятно чей, заезжего фермера из соседней деревни...

И сосед уже давно в ноги не кланяется, по деревне не побирается, а всё словно мстит за тот пьяный поклон у крыльца: норовит укусить, принизить, не заметить. Поднялся на далёкой вахте, отъел пузо, захрустел банкнотами в кармане. И всё ему мало, всё не налопается: и жену, вон, к доживающей свой век ферме приставил, и трактор прикупил, — наверняка, чтобы шабашить, вспашкой да боронованием зарабатывать. Жди теперь с замиранием, что с новой вахты привезёт, учудит...

До уток вот добрался. Передушит, гад, одну за другой или, чего доброго, подкинет отравленного зерна — и прощай полторы сотни голов! Даже на псовую похлёбку не стодятся. Да и тушёнку не из собаки же делать, не собакой же на рынке торговать.

И ворочали шальные мысли Петра с боку на бок, сбивалась простынь, жалобно, натужно поскрипывала кровать, и громким всхрапом отзывалась жена на соседней половине.

Запереть бы птицу во дворе, закрыть от стороннего взгляда, не выгонять на пустырь — так ведь и тут достанет, через забор подсыплет. А утка — птица тупая, прожорливая, клювом работает, как молотилкой: сначала проглотит, потом думает. Знает сосед: Петру не до вахт, пенсия да птица — вот и весь заработок. Пожелал отомстить за обидные побои, за давнишнее нытьё у крыльца... Ни забор, ни гараж его и десятка Петровых уток не стоят!

Как толчком, подняло с кровати, потянуло на улицу. И не помнил даже, как нацепил штаны да

рубаху, как в спешке, путая ноги, обувал сапоги, как бежал по двору да, таясь от луны, вдоль забора пробирался к соседу.

Очнулся только у трактора, прилип ладонью к ещё тёплому мотору — и в удивлении замер: что я тут делаю, зачем, почему в руке канистра с бензином?

За спиной заворчал, загремело цепью: никак соседова собака волнуется, чует неладное, злое. Замирает Пётр, втягивает голову в плечи, жмётся к большому пыльному колесу, задерживает дыхание, словно на реке под воду ныряет, как в детстве, за раковинами. И успокаивается пёс, дремотно ворчит, снова гремит цепью и замолкает...

«Тупая скотина, — забавляет Петра мысль. — С таким-то сторожем и врага не надо!»

Смело, твёрдой рукой открывает он канистру и плещет бензином на колёса, на кабину... В нос ударяет нефтяным дурманом, но приятно вдыхать этот резкий и сладковатый запах мести. И тянется уже рука к коробку со спичками, чиркает — вспыхивает огонёк и то сжимается, то разгорается под вздохами ночного ветерка. Завораживая, играет в глазах, шепчет на ухо: не робей, поспешай, он тебя уткой, да и ты не плошай — пусть знает, как задевать Петра Мордасова!

И в этом отсвете, в дуновении ветра вдруг чувствуется давнее, забытое, затаённое глубоко-глубоко, что и не вспоминается ясно, а лёгким маревом дрожит перед глазами: как в детстве он стоит у окна и следит за большим огненным бутоном, что расцветает над дедовым сараем, и как бабка взмахивает руками и опускает, взмахивает и опускает, и всё причитает: «Ироды! Спалили, ироды!..»

На его дворе стукнула дверь, выпустила на волю заspanную Галю. Петру даже отсюда хорошо было видно, как она застыла, подслеповато высматривая мужа, и расплывшаяся тень её легла на перила крыльца. Как же похожа она на бабку сейчас! Как же похожа!

Нахлынуло то позабытое чувство утраты и горечи, когда наутро он бродил по чёрному пепелищу и настырный пепел лип к подошвам и щекам, а дед сидел рядом на чурбаке и смахивал

скупую слезу: сколько труда вложено, а прошла ночь — и унесла всё с собой...

Вдруг и сосед будет сидеть и плакать вот так же, как и дед? Неужто за утку можно зараз перечеркнуть чей-то труд? И дальше-то — что?..

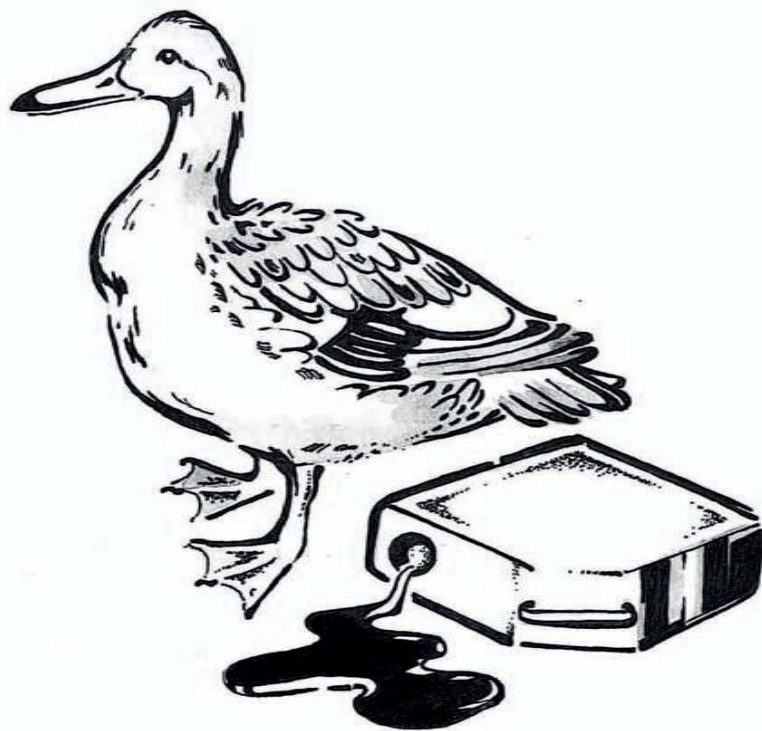
Догорела спичка, обожгла пальцы, но Пётр дотерпел боль, смолчал, только зло сунул коробок обратно в карман и неистово забарабанил канистрой по забору, по калитке, так что соседский пёс от ужаса взвыл, зашёлся лаем, захрипел. Загорелся свет в доме, грохнула дверь, прош-

лёпало гулко по двору — и угольный соседов взгляд завис перед Петром, и светились в нём и ярость, и страх, и отчаяние.

— На! Подавись! — сплюнул Пётр и швырнул наземь канистру, потом развернулся и на ватных ногах удалился к себе. Только у калитки на миг оглянулся.

Сосед бегал вокруг трактора и, как Петрова бабка когда-то, то вскидывал руки, то опускал.

Больше утки у Петра не пропадали.



*Иллюстрация Анны Жигановой*